

Из беглого по необходимости обзора статей «Энциклопедического словаря юного филолога» следует вывод о высоком профессиональном уровне издания, о дидактическом мастерстве авторов статей, о чрезвычайной полезности книги

для нашей школы. Мы надеемся, что «Энциклопедический словарь» будет неоднократно переиздаваться. Именно с этим связаны наши замечания и пожелания.

Мартынов В. В.

Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников. — М.: Наука, 1983. 224 с.

Книга В. П. Григорьева представляет собой первую часть исследования о поэтике Велимира Хлебникова; вторая часть, судя по упоминаниям автора, должна быть посвящена хлебниковскому словотворчеству, а далее напрашивается само собой исследование принципов хлебниковского словосочетания (поэтический синтаксис, стиль фразы, организация сверхфразовых единств). Работа, начало которой предлагается читателям, неожиданно оказывается едва ли не первым в нашей науке столь подробным очерком индивидуального языка и стиля писателя. Известные монографии В. Виноградова о Пушкине и челя совсем другую направленность: Пушкин выступал в них на фоне исторических традиций слово- и стилеупотребления. Здесь об этом не было речи: Хлебников, один из самых нетрадиционных русских писателей, требовал иного рассмотрения — не по месту в истории, а по внутренней системности поэтического явления. Выбор этой темы, на которой оттачивается методология изучения «Грамматики идиостиля», был осознан: избирался идиолект, (1) достаточно близкий к современности, (2) сыгравший значительную роль в истории поэтического языка XX в., (3) не «простой», а «сложный», желательный даже «максимально сложный» (с. 9). Разумеется, каждое из этих трех достоинств материала оборачивалось трудностями совсем особенного рода. Трудности эти исследователь с честью преодолел.

Заглавие книги не может не напоминать о самой первой научной работе, посвященной Хлебникову, — о брошюре Р. Якобсона (1921) с ее программой разработки «поэтической диалектологии» (с. 212). Действительно, с тех пор за шестьдесят с лишним лет это первая научная попытка охватить исследованием поэтику сложнейшего автора в целом, и попытка, увенчавшаяся беспорным успехом. Однако последовательность рассмотрения материала у автора — иная, чем у Якобсона: не от простейших наблюдений над языковой практикой Хлебникова, а от анализа главных понятий языковой (и не только языковой) теории Хлебникова, — той основы, где язык смыкается с мировоззрением (с. 192). Это вполне оправдано. Интерес Хлебникова к языку был не только практическим (как у всякого писателя), но и теоретическим — не в меньшей степени, чем, например, у Ломоносова или Карамзина; и он не в меньшей сте-

пени требует исследования именно с этой стороны. Это, кажется, признается всеми, писавшими о Хлебникове; но разработку на конкретном материале эта тема получает впервые.

В. П. Григорьев выделяет пять основных понятий «языкового мироощущения» Хлебникова: слово; язык в его внутреннем единстве; язык в разнообразии его раскрытия; число; музыка. Это — темы пяти центральных глав: «Самовитое слово», «Единый смертных разговор», «Гнездо „языков“ и образ языка», «Образ числа» и «Созвучия и раззвучия». Этим главам предшествует пространное «Введение», а за ними следуют главы-экскурсы «Несколько оппозиций» (внутренние соотношения в семантике поэтического мира Хлебникова), «Хлебников и Пушкин» (внешние соотношения в ней — темы воли, судьбы и т. д.) и «Еще раз, еще раз...» (моногографический анализ стихотворения, которое автор называет «хлебниковским „Памятником“»).

Из центральных глав книги, бесспорно, важнейшей оказывается «Гнездо „языков“ и образ языка». Здесь автору приходится преодолевать главную трудность своего материала — язык хлебниковских метаописаний. Прихотливая образность хлебниковской терминологии, говорящей не столько словами, сколько «намёками слов», способна привести в отчаяние любого систематизатора. Давно известен перечень двадцати «языков» своего творчества, составленный самим Хлебниковым: он производит впечатление насмешки над всякой классификационной логикой: «1) Числослово, 2) Заумный язык, 3) Звукопись, 4) Словотворчество, 5) Разложение слова (...), 9) Нежные сладкие слова, 10) Косое созвучие, 11) Целинные созвучия, 12) Вывихи слова (...), 16) Звездный язык, 17) Вращение слова, 18) Бурный язык, 19) Безумные слова, 20) Тайные (слова)» (с. 84). В. П. Григорьев смело дополняет его упоминаниями о всех других подобных «языках», собранных по всем страницам Хлебникова, изданным и неизданным: в результате перечень разрастается до 53 пунктов, включая также, как «речь двоякоумная», «поединок слов», «скорение (согласных)», «опечатка», «разложение слова на аршины, стук счета и на звериные голоса» и т. д. А далее следует анализ этого списка, изъятие самоповторений, систематизация оставшегося и выявление тех хлебниковских текстов, которые могли стоять за этими обозначениями в сознании поэта — выявление

очень убедительное и во многом неожиданное даже для тех, кому приходилось заниматься творчеством Хлебникова. В результате исследователь получает драгоценную возможность: работать над анализом стихов Хлебникова, не только объективно разбирать их склад, но и представлять себе, как вписывались наблюдаемые явления в поэтическое самосознание Хлебникова. Разногласия хлебниковского перечня сводятся в «многомерный образ языка» (с. 84): перед нами как бы различные проекции и срезы одного и того же предмета, очень сложного по очертаниям и составу, помогающие представить его себе в разных поворотах и глубинах.

Этот предмет, главную тему своего исследования, автор называет «воображаемой филологией» Хлебникова — по аналогии с «воображаемой геометрией» Лобачевского. Такой предмет не столько нов, как кажется. «Народная этимология» — не научная, но как бы научная трактовка языка — издавна находилась в поле зрения лингвистики. «Поэтическая этимология» — обороты вроде *«слезы слизывая с губ»*, как бы приглашающие читателя на мгновение поверить, что созвучие слов *слезы* и *слизывая* не случайно, а соответствует «глубинной» связи их смыслов, — стала предметом внимания лингвистики совсем недавно, и прежде всего благодаря работам самого В. П. Григорьева (впрочем, предпочитающего называть это явление «паронимической аттракцией»). Представим себе, что такое «приглашение поверить» делается не на мгновение, не на одну строчку, а на все время пребывания читателя в художественном мире поэта — и перед нами будет «воображаемая филология». Доказать, что она не научна, а фантастична, для лингвиста не стоит труда; но отменить ее эстетическое воздействие подобная критика не может. Фиктивное с лингвистической точки зрения реально с литературоведческой точки зрения, потому что оно организует (и очень действительно) словесный и образный мир литературного произведения — а такая организация и порождает эстетический эффект.

Столь же существенна в концепции книги глава «Самовитое слово». Заумь и псевдозаумь Хлебникова задвигая были первой насмешкой над поэтом и служили поводом для ложных толкований всего его творчества. В. П. Григорьев ставит все представления на свои места простым утверждением: «самовитое слово» есть слово, дополняющее (а не заменяющее) слова общего языка. Если это заумь (которой у Хлебникова в чистом виде не так уж много), то она воспринимается как перепеванная цитата из иного языка (так, скажем от себя, пьеса «Боги» воспринимается современным читателем приблизительно как звуковой кинофильм на иностранном языке с редкими титрами). Если это словообразовательный неологизм, то он подчеркивает те оттенки значения, которые безразличны для слова в его повседневном бытовании, но важны для включения его в данный контекст. Подробный анализ лингвистики и

эстетики хлебниковского словотворчества, как сказано, отложен автором для отдельного исследования. Что касается так называемой чистой зауми, то она (частично) представлена в отдельной главе «Единый смертных разговор» в необычном осмыслении — как интерлингвистический эксперимент, требующий рассмотрения в ряду других проектов всемирного языка от Лейбница до наших дней (здесь автор критически учитывает и работы В. Гофмана, С. Мирского и А. Костецкого, затрагивающие эту проблему). Думается, что эксперименты с заумью имели для Хлебникова и иной интерес — так сказать, упражнений по осмысливанию бессмысленного (а не наоборот!). Кажется, еще не обращалось внимания на то, что начало XX в. было в научной психологии временем увлечения экспериментальными исследованиями памяти с помощью таблиц для запоминания бессмысленных трехбуквенных слогов и что эта методика обнаружила несостоятельность потому, что вышлось: абсолютно бессмысленных слогов не бывает, все они при запоминании приблизительно осмысливаются, только очень индивидуально и прихотливо, т. е. невыгодно для психологического эксперимента. Трудно думать, чтобы такая общедоступная вещь, как эти таблицы, миновала внимание Хлебникова.

В главах о числе и музыке с некоторым опозданием всплывает давно напрашивающееся у читателя имя Пифагора. Именно в нем скрещиваются все три главные темы Хлебникова: число, музыка («Хлебников и музыка» — тема, впервые обсуждаемая в этой книге, преимущественно по незадачным материалам) и слово. Напомним, что еще в пифагорейской философии считалось, что самое мудрое на свете — число, а после него — тот, кто дал вещам имена. Наконец, для главы «Хлебников и Пушкин», может быть, стоило бы подробнее остановиться на еще двух ключевых понятиях хлебниковской эстетики слова — красоте и простоте. О «прекрасных словах» и «безобразных словах» Хлебников говорит нередко, и этот его критерий, разумеется, заслуживает самой внимательной реконструкции. «Простота» же (не говоря уже о том, что она значила для хлебниковского жизненного идеала и бытового поведения) интересна тем, что иногда пушкински ясные и гладкие созвучия, даже попросту ритмико-синтаксические стереотипы отождествляются для Хлебникова с «простотой» и принимаются в его стихи (с. 138), иногда же, наоборот, служат поводом для отталкивания; об этой диалектике можно было бы сказать больше, и это укрепило бы позицию автора в споре с оценками Г. Вишюкура и многих других, кто противопоставляет кристаллы пушкински ясных хлебниковских «удач» аморфной массе утомительных «экспериментов». Наконец, для главы «Еще раз...» можно упомянуть еще один штрих, сближающий Хлебникова с Пушкиным: для Хлебникова 1922 год был годом 37-летия, знаменательность этой цифры для возраста поэтов и художников была для него больше, чем для

о бы то ни было, и обращение к пуш-
 кскому «Памятнику», пусть подсозна-
 ное, могло быть не случайным.
 Исключительное достоинство книги —
 то, что в ней широко привлечены не-
 анные архивные материалы. Хлеб-
 ков издам не полностью, а что издано,
 очень далеко от текстологического
 ершенства; поэтому поправки, вноси-
 е В. П. Григорьевым в текст (вплоть
 угловых скобок вокруг знаков пре-
 зания), важны не только для этого
 ледования, но и для понимания Хлеб-
 кова в целом; а щедрые публикации
 изданных записей Хлебникова (обычно
 их, но иногда и по полстраницы —
 , например, замечательное рассужде-
 о «приказе» и «вдохновении» на
 195) проясняют многое известное и при-
 ывают неизвестное в его взглядах и
 лемах. Это — напоминание (автор
 ывает к нему не раз) о том, как
 зненно важно предпринять новое
 зание собрания сочинений Хлебникова.
 же если бы в книге не было ничего
 оме этих архивных публикаций, она
 е от этого была бы ценным вкладом в
 елимироведение». Здесь же они про-
 мментированы и включены в стройную
 стему реконструкции поэтического
 знания Хлебникова.
 Не менее важное достоинство — биб-
 ографический аппарат книги. Прило-
 жный библиографический список близок
 тому, чтобы называться «все о Хлеб-
 кове»; до сих пор в наших изданиях
 чего подобного не появлялось. Для
 лодых исследователей это очень важно:
 м автор мимоходом отмечает, как па-
 бно сказывается на существующих
 ботах о Хлебникове недостаточное зна-
 мство с историей вопроса. При этом
 а не остается праздным приложением
 книге: ссылки на нее щебетливо при-
 ствуют на каждой странице. По боль-
 ей части это ссылки полемические —
 о вполне понятно, потому что по-
 являющее большинство упоминаний

о Хлебникове в литературоведении и
 (особенно) критике представляет собой
 набор суждений, достаточно далеких от
 научности. Поэтому работа В. П. Гри-
 горьева от начала до конца звучит засту-
 пнической, апологетической интонацией
 (особенно, конечно, во вступительном раз-
 деле, разросшемся почти на треть книги)—
 и это, пожалуй, подчас даже вредит кни-
 ге. Значительность творчества Хлебнико-
 ва в русской, славянской, европейской
 поэзии XX в. — факт и без того очевид-
 ный; такие исследования, как книга
 В. П. Григорьева, лучше всего посодей-
 ствуют осознанию этой значительности.

«Предлагаемое читателю описание —
 это все же пока, скорее всего, своего рода
 „введение“ в грамматику идиостиля, а
 не сама грамматика как таковая, пре-
 тендующая на определенную полноту»,—
 оговаривается автор в предисловии (с. 6).
 Это, действительно, так: здесь расчищено
 пространство работы, отточены методоло-
 гический инструментарий, намечены очер-
 тания исследуемого явления, сделаны
 промеры основных общих проблем, пока-
 зан образец монографического анализа
 отдельного стихотворения, перечислено
 немало конкретных тем, напрашиваю-
 щихся для специального исследования
 (в том числе — большой список «ключе-
 вых слов-образов», требующих каждое
 отдельного рассмотрения по всей массе
 хлебниковских контекстов: *время, слово,
 число, судьба, воля, люди..., лад, мир,
 война, небо, звезда, море..., город, конь,
 дерево, игра...* — см. с. 197), — и на этом
 объеме книги заставил автора остано-
 виться. Все интонации исследователя — неза-
 вершенные; это заставляет ожидать про-
 должения исследований. В 1985 г. ис-
 полняется 100 лет со дня рождения Ве-
 лимира Хлебникова. Создание «Грамма-
 тики идиостиля» этого писателя по про-
 грамме, развернутой в книге В. П. Гри-
 горьева, — дело, достойное советской на-
 уки.

Гаспаров М. Л.

Cantor M. Medieval Slavic Lives of Saints and Princes.— Ann Arbor, 1983. 304 p.

Рецензируемая книга содержит в себе
 амятники того литературного жанра,
 оторый ее составитель проф. Мичиган-
 кого ун-та (США) М. Кантор назвал
 олусветской биографией (semi-secular bi-
 graphy).

Полусветская (перевести можно и ина-
 з: полумирская) биография, по мнению
 автора, отличается от канонического
 ижеописания святого большим внима-
 нием к живой личности человека, к его
 еальным поступкам и отношению к
 орированию чудотворчества, морали-
 торства и других общих мест, диктуе-
 ых агиографией. «Произведение может
 итаться частично светским, если в нем
 телан, пусть и небольшой, акцент на
 ирских достижениях героя» (с. 2). Не
 орывая с житийным жанром, полусвет-

ская биография тем не менее является
 значительно более надежным историче-
 ским источником, чем трафаретное жи-
 тие.

Опираясь на разыскания своих пред-
 шественников (в частности, византиниста
 П. Александера), М. Кантор усматри-
 вает истоки полусветской биографии в
 жизнеописаниях Карла Великого, напи-
 санном Эгинхардом (Эйнхардом) (запад-
 ная традиция) и Василия I Македоняни-
 на, составленном Константином Багряно-
 родным (восточная традиция). Что каса-
 ется славянской средневековой литерату-
 ры, то, по справедливому замечанию со-
 ставителя, в ней «с самого ее зарождения
 утвердилась мирская тенденция в созда-
 нии биографий» (с. 2).

Среди древних славянских письменных